

действие первое

явление I

Михаил Дивиль ходил пешком даже зимой: жил в двадцати минутах от театра — во время этого вечернего маршрута, своего рода творческого моциона, режиссер привык подводить итоги дня, обдумывать детали постановки и разглаживать новые мысли-впечатления, расстилать их перед собой, как свежееотпечатанные листы (безукоризненно белые прямоугольники, испещренные плотно сбитыми строчками, еще не обсохшими, готовыми схватиться за неловко прижатый шершавый палец и оставить развод: но вот строчки-мысли твердеют, и сухая опрятная гладь дает ощущение основательной прочности и упорядоченности, так что можно поднимать перевернутые листы на свет и разглядеть сквозь белизну жилистую твердь букв, абзацев, точек и запятых). Первые минут десять театр еще держал его, но ближе к дому Михаил постепенно отрывался от упорядоченного и такого очевидного

текущего — нынешнего, — проваливаясь в свое скрытое, ушедшее «я»: перебирал личную жизнь и путанное прошлое, нащупывал слежавшиеся где-то там, когда-то там минуты-колтуны — самые далекие, потаенные и чаще всего болезненные очертания людей или событий, теребил их в руках, как отсыревшую и измятую колоду выцветших карт с жирными отпечатками пальцев. В последние годы взгляд на прожитое оставлял особенно длинный шлейф мыслей, похожих не то на выеденную плешь, не то на вырубленную просеку.

Добираясь до своего двора, частенько задерживался перед сном в одном джазовом баре: вид пустых комнат роскошно обставленной квартиры отравлял жизнь сильнее самых ледяных воспоминаний, захламлял ее кричащими цветами и дороговизной — комнат, похожих на приторных, надушенных проституток с вычурными декольте и блестящей требухой украшений, — от каждой детали стильного интерьера квартиры, от домашней обильности обстановки, подобранной еще вместе с бывшей женой, веяло каким-то помадным духом; уже давно Михаилу казалось, что его квартира не дом, а дорогой гостиничный номер, куда нельзя прийти, чтобы ежеминутно не предчувствовать: вот-вот сейчас в дверь постучит вежливый метрдотель или официант; а стоит приблизиться к респектабельному подъезду на набережной, шагнуть в чисто прибранное фойе с разноцветным глянцевым полом, и за пластиковой витриной будет сидеть не консьержка Марья Эдуардовна, но молодой администратор на ресепшен, который сначала внимательно присмотрится к Дивилию улыбочиво-прищуренным взглядом, бегло глянет на часы и, убедившись, что час вполне

себе поздний, а постоялец вполне себе одинокий, предложит режиссеру девочку в номер.

Наверное, поэтому перед сном Михаил всегда испытывал потребность немножечко «промочить горло» или «пропустить стаканчик», как говорят вежливые и скромно одетые господа с побагровевшими носами и жиденькими волосами (господа интеллигентных, но крайне малооплачиваемых профессий); люди решительные и резкие предпочитают «вмазать», «жахнуть» или «накатить», ценители спорта «принимают на грудь», а филологически подкованные оригиналы любят «остограммиться»; люди попроще «соображают на троих», банщики «поддают», несовершеннолетние «употребляют», рыбаки «дергают», гражданские и служивые «обмывают», депрессивные пессимисты «поминают», жизнерадостные музыканты «бацают» и «жарят»; люди приземленные «распивают», порывистым романтикам широких жестов и рухнувших упований больше нравится слово «насвинячиться», кощунники «причащаются», студенты «нажираются», «бухают» или «гудят», а конченым маргиналам ближе суицидальное «колдырнуть» или деликатно-робкое «раздавить бутылек». Что же касается Михаила, он называл свою вечернюю привычку «освежиться перед сном». Так уж повелось. Впрочем, иногда он заговаривался и вместо «освежиться» говорил «освежеваться». Минутами режиссер подозревал: эта оговорочка не случайна.

Только после нескольких стаканов Михаил поднимался на лифте, бренчал связкой ключей, открывал входную дверь, принимал душ и впрыгивал в кровать с закрытыми глазами, чтобы темные стены и тенистые углы комфорта-

бельного жилища не успели навязать свою черноту — в детстве маленький Миша тоже прыгал в постель с разбегу, потому что боялся: вот-вот, и из-под кровати его схватит чья-то рука, теперь взрослый Миша не боялся руки, он боялся собственной жизни (лежал в кровати, как в мешке, и моментально отключался, разве иногда бывало, пару минут, прежде чем уснуть, ощущал лихое карусельное колотворение своего «танцующего» жилища: казалось тогда, чья-то залихватская рука из детства таки дотянулась, таки хапнула за ногу и тащит-тащит теперь волоком в разные стороны, раскачивает, хочет вышвырнуть, какдохлую кошку за хвост, но даже в эти ночи Михаил едва успевал осознать себя и взвесить прожитое, оставленное, как законный мрак сменялся рассветной белизной, а глаза распахивались и возникало ощущение, точно и не спал, настолько ничтожно малое расстояние разделял пьяный и зажмуренный прыжок в постель и это тяжкое пробуждение с дерущим сушняком, настолько быстро наступало утро, почти как по щелчкам «вкл» и «выкл»; больше всего режиссер не любил, когда в процессе «свежевания» он недорассчитывал, и процесс засыпания «по трезвянке» слишком затягивался; удручал Дивиля и тот случай, когда он перерассчитывал, так что утром рядом с кроватью оказывалась лужа пахучей блевотины, и Михаилу спросонья приходилось неловко шагать, цепляться за углы, ковылять до ванной, брать там половую тряпку, пачкать руки и протирать квартиру — причем, самое удивительное, режиссеру всегда казалось в подобные минуты, что он крепко спал всю ночь, сопел невинно и, что называется, в три насоса, совершенно не размыкая глаз, поэтому было трудно убе-

дить себя, будто эту розоватую лужицу срежиссировал он сам, а не кто-то другой, однако учитывая, что уже несколько лет Михаил живет в квартире один и не имеет в своем распоряжении ни кота, ни хомяка, ни даже аквариумных рыбок, которых, пусть и с натяжкой, при необходимости все-таки можно было бы заподозрить в причастности к этой луже, но увы, приходилось считаться с постыдным фактом, каяться и в следующий поход в бар более тщательно стараться рассчитывать свою норму, дабы не только не перерассчитать, но и не недорассчитать).

Дивиль развелся с женой четыре года назад, дочка Полина жила с самовлюбленным актеришкой-проходимцем, который поначалу навязывался к режиссеру на короткую ногу, но почти сразу наткнулся на холодную непроницаемость, и теперь «артишок», как его не без удовольствия называл Дивиль, задрал подбородок и косил на режиссера воспаленным зрачком уязвленного самолюбия. Дочь не особенно жаловала Михаила как отца и человека — больше тянулась к матери, — между Полиной и отцом не было вражды, не было и неприязни, минутами они даже могли вполне задушевно и искренне беседовать, но подобные проблески сердечности являлись скорее случайно нашупанными в темноте контурами, чем тихим неугасимым горением нормальных родственных отношений.

В профессии тоже не особенно ладилось — вернее, формально-то все было идеально: известность, «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и вполне приличный доход, но Дивиль слишком хорошо знал истинную цену всем этим публичным достижениям, которые жгли восторжен-

ный глаз обывателя и сгущали слюну завистливых коллег, у серьезных же ценителей и самого Михаила они не вызывали никаких эмоций. Вторичность его творческих изысканий была очевидна для многих. Вот и работа над новой постановкой в шести действиях сейчас никак не шла. Формально она была закончена, по крайней мере репетиции шли в обычном рабочем темпе, но после каждой новой такой репетиции Дивиль понимал: нужна серьезная переработка текста самой драмы.

Михаил давно уже пытался понять, когда в нем пропало то чувство, что в молодости толкнуло к театральной режиссуре и драматургии, заполняло энергией до кончиков пальцев всякий раз, как он брался за новую идею, но в беспорядочном и противоречивом прошлом все слишком слежалось, как-то наслоилось одно на другое, так что ничего нельзя было понять...

Режиссер перебежал блестящую от света фар дорогу — как залитую лунным светом реку перешел вброд, только бесшумно, словно крадучись. Джазовый клуб находился в темном дворе, куда можно было войти только через не приметные ворота. Дивиль уже давно являлся здесь завсегдатаем, но каждый раз, как проходил через эти крашенные ворота, его не покидала мысль, что ему приходится проникать в заведение через черный ход (в этом теплилось своеобразное очарование). Дивиль не был страстным поклонником ни Чарли Паркера, ни канонизированного африканской церковью в Сан-Франциско саксофониста Джона Колтрейна, ни музыки других легендарных джазистов — просто режиссеру нравился этот клуб, его атмосфера, интерьер и полное пренебрежение к рекламе.

Михаил пересек двор чуть нервной и угловатой походкой — прошел сквозь него толстой пунктирной линией. Перед входом в бар скамейки и стулья; несмотря на дождливую погоду некоторые гости сидели под открытым небом, кутались в плащи и пледы, оживленно болтали, звенели стаканами, курили. Татуировки на руках, шеях, крупные серьги, пирсинги, туннели. Дождевые капли лакировали лица и черные кожанки, превращали людей в блестящие восковые фигуры с бледными и желтыми лицами. Вход загородила стильная компания. Ребята передавали по кругу бутылку игристого вина: кольца на длинных пальцах постукивали о зеленое стекло. Молодежь лениво потеснилась. Михаил прошел сквозь клубы дыма от самокруток, сквозь запах молодости и духов, сквозь распушенные по ветру и прилипшие к губам волосы, сквозь смеющиеся взгляды, как сквозь солнечный, пронизанный пылью свет. Спустился по узкой лестнице, оказался внутри.

Сел за барную стойку, кивнул бармену — низкорослому африканцу Абику с матовыми губами и гуталиновой кожей. Дивиль настолько часто видел этого бармена — гораздо чаще дочери и бывшей жены, — что временами казалось: Абик по меньшей мере его единоутробный брат. Режиссер скользнул глазами по пестрым этикеткам блестящих бутылок и заказал порцию выдержанной текилы — анежо. Вздохнул жесткие волосы и погладил ладонью некрасиво оттопыренное ухо: в детстве Михаил очень комплексовал из-за своего изъяна — с самого рождения правое ухо сильно оттопыривалось и казалось больше левого; в школе, понятное дело, такое не прощалось, Миша долго терпел, пока в девятом классе не избил на перемене самого злого

зубоскала, после чего одноклассники стали находить в оттопыренном ухе определенную брутальность и даже завидовали, Дивиль же, в свою очередь, в связи с этим изменившимся к нему отношением загрустил еще больше, оглушенный сознанием, что все в жизни, любое пространство и место приходится отвоевывать у мира людей, ощерив зубы и сжав кулаки. Чисто эмоционально он ощущал, что это не может быть правдой, что это слишком убого и прямолинейно для закономерности такого сложного и многостворчатого мира, но жизненный опыт знай все твердил свое.

За время школьных лет Дивиль не только привык, но даже полюбил драться — он воспринимал юношеские стычки как возможность выплеснуть застоявшееся и спертое, как-то впрыснуть, но в том рафинированном мире, в котором он оказался в ГИТИСе, а особенно после него — это стало неприемлемым и недопустимым: в цивилизованном обществе большого города люди старались пакостить друг другу исключительно законными способами, поэтому до драки дело доходило редко — обычно даже самые хамовитые смолкали, становились ниже под натиском острых глаз Михаила, если он начинал злиться, но, невзирая на эту внутреннюю энергию, режиссер часто удивлялся тому, каким слабым и беспомощным иногда ощущал себя сам.

Вот и сейчас режиссер находился в этом странном состоянии парализованной мощи — он чувствовал в себе настоящий ураган, способный проламывать стены, но не понимал, зачем ему нужен этот дремлющий шквал уставшей энергии. В молодости его внутреннее «я» вело себя более сложно и неоднозначно — творческая нервность и эмоци-

ональное сгущение стихийно вырывались на свободу — это специфическое «я» нередко толкало Михаила на высказывания и поступки, противоречащие его принципам и убеждениям: в те годы в порыве какого-то экстравертного безрассудства он мог высмеять собственные святыни или обидеть дорогого ему человека, мог выставаться и бить себя в грудь, чтобы произвести впечатление и понравиться окружающим, притом что по природе своей был достаточно скромным человеком и до отвращения не переносил подобное в других. С возрастом Михаил пообтесался, стал более сдержанным, но по факту не изменился — просто научился тщательнее контролировать внутренние потоки, да и творческой нервности в нем больше не было — как-то опало все, обмякло, стало прозрачным и водянистым.

Взял стакан с текилой, повернулся к залу, пробежался глазами по столикам. Знакомых, к своему удовольствию, не увидел; сегодня было особенно тоскливо, и даже одна только мысль о дружелюбной болтовне казалась невыносимой. Здесь всегда собиралось много его друзей, действительно замечательных, интересных людей — каждый из них мог выслушать о наболевшем и искренне поддержать, мог развеселить, но режиссеру не хотелось делиться своей ношей, вываливать ее наружу — Михаил держал ее в себе, может быть, бессознательно и интуитивно, подавлял в себе, как отрыжку. Да и о чем, собственно, рассказывать друзьям? Дело вовсе не в разводе, не в сложных отношениях с дочерью и не в том, что он перестал гореть некогда любимой творческой работой, — в нем просто что-то надломилось, во всем его отношении к жизни, а как это можно внятно объяснить даже самому близкому другу, если сам себя едва

понимаешь? Дивиль наперед знал все, что ему могут посоветовать самые задушевные советчики, — тошнотворные избитости и банальщину.

Квадратные столики тесно сгрудились вдоль стенки, плотно облепленные подвыпившими гостями. Бордовые кирпичные стены грубой отделки — шершавые и рыхлые, приглушенный свет, хмельные лица, звон тонкого стекла — ломкая, надтреснутая перебранка стаканов и бокалов. На сцене играли музыканты.

Бармен достал соль и начал резать лайм. Режиссер выставил руку вперед и замотал головой:

— Абик, не нужно, томатный сок смешай просто с апельсиновым и добавь табаско. Я сегодня только выдержанную буду пить.

Михаил приложился к стакану, отхлебнул золотистой текилы, немного подержал на языке и неторопливо проглотил. Послевкусие голубой агавы приятно обожгло язык и растеклось по крови колючими каплями. Глядя на веселые компании у столиков, режиссер еще больше затосковал. Вокалист с гитарой что-то сказал со сцены — Дивиль не расслышал, что именно. Только уловил сильный акцент.

Тут кто-то хлопнул режиссера по плечу. Оглянулся. Наткнулся взглядом на лицо дочери:

— Полина, откуда?!

Дочка сняла черную приталенную куртку с серебристыми молниями и острыми плечами. Бросила ее на соседний барный стул. Положила бирюзовую сумочку из кожи питона на стойку и села рядом с отцом. Внимательно заглянула в глаза.